«Коммуне не быть покоренной»

Wesson R.G. Soviet Communes. New York: H. Wolff, 1963. — 275 p.

В.В. Бабашкин

Владимир Валентинович Бабашкин, доктор исторических наук, профессор кафедры политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571 Москва, проспект Вернадского, 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2020-5-3-178-186

Уважаемый читатель, конечно, знает, где я позаимствовал хлесткую строчку для названия этой рецензии: «Левый марш» В.В. Маяковского, 1918 год. Очень уж мне понравилось то, что американский советолог Роберт Гейл Уэссон написал о советских сельскохозяйственных коммунах в своей докторской диссертации, опубликованной в 1963 году. В ней начисто отсутствует тот антикоммунистический пафос, что характерен для многих западных советологических публикаций последующих лет и десятилетий. Поэтому и не жалко использовать одну из тех строк, что накрепко засели в голове еще со времен освоения школьной программы по русской литературе. А она тут весьма кстати, потому что помогает объяснить то обстоятельство, что рецензия написана не на только что опубликованное исследование, как это обычно делается, а на книгу, увидевшую свет более полувека назад. В чем же ее актуальность?

Попробуем для начала задаться другим вопросом: а о какой коммуне писал тогда великий пролетарский поэт-романтик? Добросовестный поиск ответа неизбежно выведет нас на проблему, актуальность которой в доказательстве не нуждается. Это проблема наличия или отсутствия в обществе такой государственной идеологии, которая была бы близка и понятна огромному большинству его граждан, традиционно и убежденно поддерживалась бы этим большинством, сплачивая население страны в ту дружную общность, которую иногда несколько блекло, но довольно точно именуют политической нацией. Само упоминание о возможности такой идеологии в современной России до самого последнего времени было как бы антиконституционным, пока мы не внесли ряд поправок в свой Основной Закон. Вот вам и привет из далекого 1963-го.

Р. Уэссон уже в первых абзацах введения подчеркивает, насколько лидерам большевистской партии было дорого само слово «коммуна». Когда в ноябре 1917 года Ленин и его товарищи захватили власть, пишет он, их экстремизм казался столь «непрактичным», что «весь мир был уверен: они не смогут долго удерживать власть; потребуются дни или недели, чтобы их свалить, подобно тому, как Парижская коммуна в 1871 году была залита кровью, стоило только сплотиться силам порядка» (p. 3). Отметим про себя, что под «непрактичным экстремизмом» большевиков автор, конечно, в первую очередь подразумевает декреты «О мире» и «О земле». Понятно, что экономические и социальные последствия этих первых шагов большевиков по узаконению своей политики не могли быть ничем иным, кроме того, что нам известно под именем «военного коммунизма». Конспективно отметив все это, включая «беспрецедентную атаку на религию и “буржуазную мораль”», исследователь пишет: «Но вершиной Революции была коммуна, где, по словам официального законодательного акта, “все принадлежит всем”. В ней, как нигде, нашли бы свое воплощение идеалы Революции: жить и вместе работать в братстве и равенстве, владея всем совместно и свободно, без жадности и зависти, как в обществах, о которых мечтали коммунисты-утописты всех времен» (Ibid.).

Само слово «коммуна» пришло в язык образованных русских из французской истории. В частности, в годы Великой Французской революции местные приходы провозглашали себя коммунами, избирали свои органы управления, многие из которых формировали революционные комитеты. На время якобинской диктатуры прежнюю столичную администрацию сменила революционная Коммуна Парижа, прекратившая существование монархии. «На несколько месяцев, — пишет Уэссон, — между этой радикальной структурой и Законодательным собранием установились отношения, чем-то напоминающие отношения между Петросоветом и Временным правительством в 1917 году. Но с падением Робеспьера победа оказалась в руках более консервативных элементов, Коммуна была повержена, а многие из ее деятелей обезглавлены» (p. 4-5). Таким образом, в восприятии людей, знакомых с историей Французской революции, радикализм якобинцев логично увязывается с понятиями «диктатура» и «коммуна».

У известного нашего историка-крестьяноведа А.В. Гордона есть работа, в которой нащупана чрезвычайно интересная связь между тем, что знали и понимали о Французской революции будущие лидеры Русской революции, и тем, как это отразилось на их конкретных политических действиях. Связь эта парадоксальна — по-другому в крестьяноведении не бывает. Известно, какое значение придавал К. Маркс определенной трактовке политических событий во Франции в конце XVIII века для подтверждения своих историософских убеждений. Известно, какое значение придавал В.И. Ленин как лидер русского политического экстремизма так называемо-

му «марксизму» для того, чтобы убедить себя и своих соратников в «научной» обоснованности собственных действий по захвату государственной власти в октябре 1917 года и дальнейшему ее осуществлению. Менее известно, как много надежд возлагали классики французской историографии левого толка на определенную трактовку Русской революции с целью легитимации всемирно-исторического значения Французской[1].

А ведь став во главе государства, Ленин оказался перед лицом жесткой необходимости все время корректировать свой «марксизм» по главному вопросу тогдашней политики, аграрному, сообразуясь с политической реальностью и необходимостью. Двигаться приходилось от представления о «коммунах» как ростках высших форм организации труда в сельском хозяйстве к «строю цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства»[2]. Но это уже совсем другая трактовка содержания революционных событий в нашей стране, в которой какие бы то ни было аналогии с французскими сюжетами практически полностью исчезают.

Следует отдать должное Р. Уэссону: он фактически фиксирует эту сложную и до сих пор отнюдь не бесспорную историческую реальность уже во введении — причем делает это на уровне значений слов, резонно отметив, что уже в первые годы после большевистского переворота революционно-романтическое использование слова «коммуна» исчезает, оно начинает означать «прежде всего группу людей, живущих и ведущих свое хозяйство на основе более или менее обобществленной собственности. Это и есть предмет настоящего исследования. Другое (значение слова “commune”. — *В.Б.*) — это прежняя “сельская община”. Известная путаница может возникать из-за несовершенства английского языка, в котором одно и то же слово используется для обозначения и *коммуны*, и *общины* — как обычно называлась деревенская крестьянская община» (p. 5-6)[3].

Это, конечно, важно. Но дело не только в этом. Исследователь идет дальше в своем лингвоисторическом анализе. Он под-

1. *Гордон А.В.* (2012). Революционная традиция в сравнительно-исторической перспективе (Россия — Франция — Россия) // Россия и революция: прошлое и настоящее системных кризисов русской истории. М. С. 82-108.
2. См. об этом: *Шанин Т.* (2004). Четыре с половиной аграрных программы В.И. Ленина // Отечественные записки. № 1 (16); см. также: Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке (2015). М. С. 659-693.
3. Американский ученый Р. Редфилд, специально занимавшийся исследованием социально-экономических институтов в крестьянских обществах, аналогичных сельской общине в России, счел необходимым обозначить эту важнейшую и во многом универсальную для таких обществ реальность особым термином: «little community». См.: Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке (2015). С. 317-362.

черкивает не только очевидную разницу между традиционными крестьянскими общинами и коммунами времен Гражданской войны — предельный прагматизм первых и утопический романтизм вторых, — но и нечто такое, что в определенной мере оправдывает использование для обозначения тех и других слова "*commune*". С одной стороны, это мечта о «равенстве и братстве». Можно было бы добавить: и о справедливости, но, честно говоря, в рецензируемой книге такое слово не упоминается. Вероятно, в силу своей загадочности и все той же невозможности адекватно перевести его на английский язык. Хотя, убежден, это ментальное свойство было в первые годы советской власти одинаково присуще и общинникам, и коммунарам.

С другой стороны, коммунарам первых лет большевистского правления, а уж тем более нэповской поры, никак не откажешь в практичности — той самой, что является едва ли не синонимом традиционной крестьянской общины. В исследовании И.В. Гончаровой и Г.С. Чувардина, посвященном коммунам Центрального Черноземья, зафиксирована та же тенденция в эволюции этих немногочисленных, но очень многообразных структур, о которой пишет и Уэссон: «Прослеживается закономерность: чем выше был статус объединения по социалистической шкале, тем больше была задолженность. Так, наибольшая задолженность была у коммун: она колебалась от 1204 до 16 566 руб., артели были должны от 246 до 710 руб., ТОЗы — от 40 до 3745 руб. на объединение. Усиленная государственная поддержка в обмен на идеологическую вывеску без должного контроля была очень мощным аргументом для отстаивания статуса коммуны»[4].

В этой работе орловских историков приводится целый ряд поразительных примеров в пользу того вывода, что «создание коммун для реализации меркантильных интересов тех, кто оказался ближе к власти, оставалось устойчивой тенденцией на протяжении всего периода нэпа»[5]. Весьма запоминающимся выглядит случай с коммуной «1 мая» Льговского района ЦЧО. Согласно документам последующей государственной проверки, в это объединение вошли в 1928 году «кулацкие хозяйства», которым в этой связи не просто удалось уйти от налогообложения, почти семикратно сократив свои выплаты государству; да еще и за год, накануне поворота к коллективизации, «коммунары» ухитрились превратить в недвижимость 32 661 руб. государственных кредитов. Часто члены коммун не упускали возможность использовать этот свой социальный статус в качестве социального лифта[6].

4. *Гончарова И.В., Чувардин Г.С.* (2018). Коммуны Центрального Черноземья — от «военного коммунизма» до коллективизации: замысел и реализация // Крестьяноведение. Т. 3. № 4. С. 110-111.
5. Там же. С. 112.
6. Там же. С. 113, 119.

И все же, на мой взгляд, такой вывод должен для большей объективности рассмотрения проблемы соседствовать с выводом Р. Уэссона: «Коммуны были помощниками партии в деле создания всевозможных центров для осуществления партийной работы среди крестьянства, поддерживая на плаву мечту о социалистическом земледелии на протяжении лет, когда коллективные хозяйства были маленькими островками в море индивидуальных хозяйств. Коммуны были маяками социализма в деревне» (p. 193-194). В оценочных суждениях не стоит допускать резкий перекос ни в сторону прагматизма на грани цинизма, ни в сторону романтизма, граничащего с мечтой, когда мы размышляем о той исторической реальности, которая стала предметом рецензируемой монографии. Не случайно ее автор, прежде чем приступить собственно к рассмотрению многообразных проявлений того, что по партийной статистике проходило в исследуемый период как «коммуны», рассматривает разные проявления коммунистических идеалов в новейшей истории человечества вообще — вне России. Затем его внимание приковывают такие уже сугубо российские сюжеты, как марксизм и община[7]; влияние народнических представлений об общине, с одной стороны, и марксистских споров о крестьянском социализме, с другой, на становление взглядов Ленина по этому вопросу; теоретические воззрения эсеров, анархистов; религиозные общины до и после октября 1917 года.

С такого вот большого теоретического разбега исследователь приступает к рассмотрению собственно объекта своего научного интереса, стараясь быть максимально объективным. Это не так просто сделать, не впадая в методологические крайности ни научного коммунизма (как тогда официально именовалась светская религия СССР), ни более привычного для англоязычных советологов антикоммунизма. Мне кажется, ему вполне удалось справиться с этой задачей, представив читателю на основе имеющихся в его распоряжении литературы и источников достаточно взвешенный взгляд на проблему. Во всяком случае, такой обстоятельный экскурс в историю идеи коммунизма и в проблему теоретического состояния этой идеологии на рубеже позапрошлого и прошлого веков помогает понять, почему слово «община» не вызывала больших симпатий у Ленина и его соратников — в отличие от «коммуны». Первое ассоциировалось с чем-то таким, что принадлежит отжившему Средневековью и «железной поступью прогресса» обречено на слом; второе было явно как-то связано с образом будущего, и этот образ теоретически вот-вот будет уловлен и запечатлен. Тем более Ленин совсем недавно с увлечением работал над книгой «Государство и революция», в основе которой, как известно, ле-

7. Позже эти вещи будут тщательно рассмотрены в тех работах, которые Т. Шанин включит в свою книгу «Поздний Маркс и русский путь»: *Shanin T.* (Ed.) (1983). Late Marx and the Russian Road. New York.

жит статья Маркса «Критика Готской программы» с ее представлениями о социализме и коммунизме как двух последовательных ступенях на пути к посткапиталистическому будущему. А в марте 1918 года большевики переименовали свою партию власти в коммунистическую, придавая этому большое теоретическое и практическое значение. «То обстоятельство, что большевики предпочитали иностранное слово "*коммуна*", — пишет автор "Советских коммун", — является свидетельством их по преимуществу западной ориентации» (p. 6).

Очень интересна попытка Уэссона построить этакую обобщающую, интегральную историко-социологическую модель той социально-экономической структуры, которые в 1918–1933 годах официально именовались коммунами. «От начала и до конца, — пишет он, — коммуны были крайне различны по степени своего коммунизма, по размерам, организации, даже по той политике, что они проводили. Однако можно представить себе историю некой коммуны вообще приблизительно следующим образом. В 1919 году дюжина крестьян-бедняков, которым мало что перепало от раздела поместий, и столько же рабочих, которых голод и безработица гнали из города в деревню, поселяются в том, что осталось от строений местной помещичьей усадьбы, и провозглашают себя коммуной "Пролетарский путь". Местный совет ссужает им сто рублей и несколько голов конфискованного скота; и с этим они начинают хозяйствовать, продержавшись до первого урожая на государственное пособие — подобно городским рабочим». Далее исследователь в самых общих чертах обрисовывает те экономические, политические и организационные трудности, которые были характерны для существования подобных коммун до 1923 года. Но по окончании Гражданской войны советское руководство идет на стратегическое отступление; и новая экономическая политика означает для коммунаров вместо жесткой необходимости сдавать все излишки продукции сверх очень скромного прожиточного минимума государству известную предпринимательскую свободу.

Одновременно снижается интерес со стороны государства к коммунарам «Пролетарского пути» как первопроходцам в будущее, тропы в которое становятся все более извилистыми и запутанными. Мораль под ударом. Некоторые заявляют, что вся затея была ошибкой, и возвращаются к индивидуальному хозяйству. Прежние рабочие снова могут получить в городе работу по специальности и уезжают. Помощь со стороны государства становится минимальной. В этой ситуации очень много зависит от двух-трех приличных урожаев подряд. Быт коммунаров несколько налаживается, и предприятию удается устоять до 1925 года, когда интерес государства к этим структурам вновь оживляется. В 1926 году «Пролетарский путь» получает трактор «Фордзон». С 1927 года в партийно-политической риторике все громче разговоры о коллективных формах сельского хозяйства как о торной дороге в направлении передового социали-

стического общества; и наши гипотетические коммунары, как некогда в 1918–1919 годах, начинают олицетворять авангард советского крестьянства, организованно движущегося в этом направлении под руководством партии. В силу неопытности и административного рвения многих партийцев на местах допускаются перегибы в политике коллективизации, и на рубеже 1929–1930 годов «Пролетарский путь» фактически оказывается в окружении таких же коммун, члены которых еще вчера вели индивидуальное хозяйство: обобществлено практически все. Но в марте 1930 года Сталин осуждает перегибы, проводится политика по их решительному преодолению. И к 1933 году наша умозрительная коммуна с пятнадцатилетним стажем оказывается перед необходимостью жить и действовать в рамках примерного устава сельскохозяйственной артели (p. 9-10).

В заключении своей замечательной монографии о советских аграрных коммунах Р. Уэссон пишет о вещах, которые мне лично близки и понятны. Но я не могу сказать, что эти вещи были само собою разумеющимися в советской историографии революционных событий в России. Тем более не являются они таковыми сейчас. Судите сами. «Русская революция, — пишет он, — была скорее взрывом примитивных эмоций, нежели чем-то, связанным с марксизмом или большевиками» (p. 237). Далее он поясняет, что, по Марксу, революционный взрыв должен был иметь своим результатом преобразование общества перезревшего капитализма, в то время как в случае с Россией речь идет о крестьянской стране. Но дело даже не в этом, а в том, что, согласно Уэссону, момент истины в Русской революции наступает на рубеже 1929–1930 годов, когда во главу угла неизбежной политики коллективизации крестьянского хозяйства советское руководство попыталось поставить модель коммуны и столкнулось с непреодолимым препятствием в лице общинного крестьянства. Сталин быстро это понял и эффективно отыграл назад.

«Революция закончилась с отторжением коммуны, — пишет автор. — Экстремизм Первого пятилетнего плана был обуздан. Последовал разворот от революционных идеалов, от фантастических нововведений к следованию традиции, от интернационализма к национализму — и это главное направление политики на протяжении 1930-х годов. ...Сталинизмом оказались отторгнуты не только примитивизм и анархизм сельской коммуны, но также связанные с нею дух восстания и мирового коммунистического движения. ...Сталин предпочел наследовать то, что шло от российского прошлого, нежели исходящее от французского социализма. Он национализировал Революцию, провозгласив независимость ее от мировой революции через свою доктрину “Социализм в одной стране”. Он реабилитировал российскую историю, возводя проклинаемых дотоле царей в ранг почти героев» (p. 242).

Есть в тексте заключения еще одно место, которое я просто не могу оставить без комментария. Р. Уэссон отзывается на дис-

куссию, развернувшуюся в начале 1960-х в советской общественно-политической литературе по поводу порядка перехода СССР от социализма к коммунизму. Отталкиваясь от предмета своего исследования, он задается вопросом: означает ли такой переход превращение колхозов, пусть даже укрупненных, в какое-то подобие аграрных коммун 1920-х? Нет, конечно. Скорее, пишет он, все эти до- и послереволюционные артели и общины «будут переплавлены в рамках общества в нечто такое, что можно будет назвать единой огромной общиной (хотя такое слово теперь не в моде)» (р. 236). Думаю, что именно это и произошло, только не в перспективе от начала 1960-х годов, а в ретроспективе — на протяжении 1930-х.

За подтверждением обращусь к выступлению организатора Международного круглого стола «Сталинизм и крестьянство», заседавшего полвека спустя после выхода в свет «Советских коммун». Подводя итоги состоявшейся дискуссии специалистов в разных областях обществоведения, П.П. Марченя риторически вопрошал: «Да и та же коллективизация, которая столько раз недобрым словом помянута была сегодня за нашим круглым столом — это что, какой-то абсолютно внешний по отношению к русскому крестьянству проект? Или это реализация того, что уже было потенциально заложено в самом крестьянстве? Разве это не — пусть не самый лучший, но все-таки — вариант развития крестьянской общины? И разве у процесса явного “раскрестьянивания” сталинской России, о котором столько сегодня говорили, не было неявной, изнаночной стороны — “окрестьянивания”, при котором вся огромная, стремительно индустриализирующаяся за счет крестьянства страна превращалась в одну гипертрофированную крестьянскую “коммуну”, “социалистическая экономика” которой резонировала с общинной “моральной экономикой”, а все базовые идеологически “новые” ценности корреспондировали с устоями сельского “мира”? Разве само крестьянство не приносилось в жертву во многом именно во имя воплощения крестьянской утопии?»[8]

Если кто-то из коллег сочтет эти вопросы надуманными и не стоящими внимания, для меня это прозвучит, мягко говоря, неубедительно. А вот то, что в поисках ответов на них нам очень помогут материалы монографии «Советские коммуны» и ряд небанальных умозаключений ее автора Р.Г. Уэссона, у меня сомнений не вызывает.

8. *Марченя П.П.* (2014). Коммунистическая Россия как мегаобщина: Первый Международный круглый стол «Сталинизм и крестьянство» // Сталинизм и крестьянство: сборник научных статей и материалов круглых столов и заседаний теоретического семинара «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории». М. С. 601.

“The commune cannot be conquered”

Wesson R.G. Soviet Communes. New York: H. Wolff, 1963. — 275 p.

Vladimir V. Babashkin, DSc (History), Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 115571, Moscow, Vernadskogo Prosp., 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru